

Современники Александра Николаевича Островского вспоминают, что театр он любил больше жизни, драматургию — больше, чем писательство. Драмы и комедии заполняли все его время — порою сны. Но ни в каком, даже самом дивном сне, он не видел того, что увидел в 1862 году в Петербурге, в только что отреставрированном Александринском театре: на медальонах новенького расписного лафана рядом с изображением трех больших русских сценических писателей был и его портрет. Единственный из современных ему драматургов сподобился стать вровень с Фонвизиным, Грибоедовым, Гоголем. Годом позже Островский будет избран членом-корреспондентом Российской академии наук. О нем узнают на родине Шекспира и заговорят в зарубежной прессе.

Голоса Островского

Борис ВОЛКОВ, обозреватель

Учред. газ. - 1993 - 13 апр. - с. 23

Везло русским писателям на добрых сказочниц-нянь! Была своя няня и у Александра Островского — Авдотья Ивановна Кутузова. И еще бабушка по матери Наталья Ивановна. Вдова пономаря, бабушка справляла в церкви обязанности просвири. Возле няни да возле бабушки ребенок крутился целыми днями, вслушиваясь неведомо для чего в легкую, бесхитростную своей чистотой народную речь. Не знал он, конечно, что жизнь свою посвятит театру, как и не мог знать о том, что тезка его Александр Пушкин будет советовать молодым писателям учиться живой русской речи у московских просвири. Когда 12 апреля 1823 года в семье обер-прокурорского секретаря Николая Федоровича Островского родился сын Александр, Пушкин находился в ссылке в Михайловском.

Выйдя сегодня из московского метро на станции «Третьяковская», можно через несколько минут оказаться подле двухэтажного особняка с каменным низом и деревянным верхом, обшитым желтоватыми досками. В этом доме, расположенном между Малой Орданкой и Голыковым переулком, открыт музей А. Островского. Будущий драматург прожил здесь первые свои три младенческих года.

О детстве и родителях Александр Островский нигде не обмолвился ни словом. Но почему мы сегодня восхищаемся в его пьесах таким достоверным изображением добрых начал в характере русского человека — стремлением всякое дело вести к справедливому, нравственному исходу и душевными терзаниями, когда исход этот не по силам? Не светил ли здесь драматургу путеводной звездой образ рано ушедшей матери Любови Ивановны?

О ДЕТСТВЕ Островский не вспоминает, но вот, читая его раннее произведение — «Записки замоскворецкого жителя», мы вдруг невольно замечаем, что в герое одного из очерков — мальчике Кузе начинаются проступать черты мальчика Саши. И видим его учителя, который «сидит, задумавшись, над трагедией, в этой тетради собрано множество разного рода стихотворений...». Далее автор «Записок» замечает: «И выучил Кузу учитель священной истории и арифметике, а грамматике по непредвиденным обстоятельствам не успел. (Об этом после Куза, когда собрался писать драму, очень жалел...)».

Куза «сбирался писать драму». По обмолвке молодого писателя можно заключить, что интерес к драматургии зародился у Островского в самом нежном возрасте. Когда ему было тринадцать лет, в Москве состоялась премьера гоголевского «Ревизора», Александр уже с год посещает первую московскую гимназию. Отец к тому времени удачно приобрел два новых дома на Житной, откуда наш гимназист не слишком охотно шагал каждое утро через Каменный мост к большому скучному желтому зданию на Волхонке. Будто к нему, сбегающему с Каменного моста в свою страну Замоскворечье, обращено поучение досужего резонера Мамаева из комедии «На всякого мудреца довольно простоты»: «В гимназию-то... тихо идешь, а из гимназии до-

мой бегом, а надо, милый, наоборот».

Писателя так или иначе всегда ведут живые голоса детства, которые звучат в нем с годами настолько сильно, что руководят его творчеством. Даже если он не вспоминает о детстве.

Самобытная душа мальчика Островского, богатая удержанными впечатлениями, противилась дикой педантичной методике некоторых гимназических учителей. «Душа, как цветок, ждет влаги небесной, чтобы жить и благоухать, а схоластик норовит оторвать ее от питающего стебля и высушить искусственно между листами фолианта». К счастью, это замечание Островского не относилось к словеснику Павлу Михайловичу Попову, возбуждавшему охоту к творчеству, развивавшему таланты, у кого они были.

Между тем успешно продвигающийся на юридическом поприще отец к этому времени добился того, что был вместе с детьми внесен в дворянскую родословную книгу. Через четыре года после смерти матери в доме появилась молодая мачеха Эмилия фон Тессин, шведка по происхождению. «Маменька» приглашает домашних учителей с намерением облагородить детей европейскими языками и музыкой. Юный Островский с удовольствием занимается музыкой, будто предугадывая, что умение подбирать на фортепиано мелодию и записать ее сгодится ему в будущем. Он читает в подлиннике Софокла, Шекспира, наслаждается звучанием пушкинского «Бориса Годунова». Но не осмеливается послушаться «папеньки» и после окончания гимназии оказывается не на историко-филологическом факультете университета, куда душа звала, а на юридическом.

БИОГРАФИИ Шекспира установили, что великий драматург служил в молодости нотариусом. В становлении драматургии Островского его работа в суде сыграла, вероятно, еще большую роль. Лучше всего об этом поведают нам сами пьесы Островского — «Свои люди — сочтемся!», «Доходное место», «Пучина»...

Его семья к тому времени уже жила на берегу тихой и чистой тогда еще Яузы, окаймленной с одного берега густым лесом. Здесь, в мансарде дома в Николо-Воборыньском переулке утром 14 февраля 1847 года он закончил первое свое драматургическое произведение «Картины семейного счастья» («Семейная картина»), а вечером уже читал рукопись на квартире недавнего своего университетского профессора словесности Шевырева.

Совсем незамысловатая пьеска, и движение едва намечено. Но незамысловатость искупается голосами действующих лиц. Не неся в себе особых дум и раздумий, они несут все же в себе неизъяснимую новизну и свежесть.

Да, действительно, с первой же реплики руку молодого автора словно вели голоса его замоскворецкого детства и отрочества. Он их слышал настолько отчетливо, что многие его драмы и комедии станут потом зарождаться, как ручейки, в этом чистом роднике, не замутненном еще привычной мастеровитостью.

Уже в начальных интонациях молодой сестрицы Пузатова писа-

тель уловил звук времени, подметив завязи своих будущих пьес: «Вот уж и лето проходит, и сентябрь на дворе, а ты сиди в четырех стенах, как монашенка какая-нибудь, и к окошку не подходи... Что ж, пожалуй, не пускайте! Запирайте на замок! Тиранствуйте! А мы с сестрицей отпросимся ко всенощной в монастырь, разодемся, а сами в Парк отличимся либо в Сокольники».

Вероятнее всего, наш драматург волновался при чтении. Но через это волнение ему, видимо, удалось показать, что для него действующие лица важны прежде всего тем, как они говорят. Потому что, когда он окончил чтение, профессор Шевырев подошел к нему, взял его за руку и, обратившись к гостям, сказал:

— Поздравляю вас, господа, с новым драматическим светилом в русской литературе!

И все же славу ему как драматическому писателю принес «Банкрот» (позднее название комедии — «Свои люди — сочтемся!»).

Островский работал над «Банкротом» два с половиной года, дольше, чем над всеми своими остальными пьесами. Не отступая от задуманного сюжета, он пробовал на слух каждое слово, реплику, проверял звучание фраз, интонации на разнохарактерных слушателях. Тонкий лирик, певец совести, чьи стихи исполнены нравственного начала, Иннокентий Анненский не зря потом называет его «поэтом-слуховиком». Ему было вполне достаточно, если пьесу его хорошо прочитают, услышат.

К сожалению, многие пьесы Островского постепенно превратились в штампы под влиянием «многочисленных» наших театральные критиков, лишенных способности чувствовать первозданную красоту и обаяние живого неповторимого искусства. Отсюда и стремление режиссеров-новаторов сделать на сцене «неприменно не так, как было у автора, сделать по-новому, даже «наоборот» тому, как было у драматурга.

Вся юность Островского прошла под знаком восхищения природной украинской жизнерадостностью Гоголя. А встретил его и увидел малосимпатичного угрюмого меланхолика... Это не помещает ему разглядеть в Гоголе гения, рождающегося один раз в тысячелетие. «...Гениальный почин Пушкина и Гоголя, — заметит он, — открыли творческие силы талантливых авторов...»

К «окрыленным» драматург относил и себя, отрицая тем не менее прямое влияние автора «Ревизора» на свои пьесы. Потому что считал его талантом именно общечеловеческим.

Прочтите «Свои люди — сочтемся!» и сравните с «Ревизором». Существует точка зрения, что комедия Островского вступила здесь в противоречие и с традиционной теорией Гегеля (герои раскрываются не столько в том, как они говорят, а в том, как действуют), и с нетрадиционной практикой Гоголя. Но в этом-то и новизна пьесы Островского.

Начиная с монолога Липочки Большой, скучающей у окна над книгой, комедия, как и положено

драмам Колумба Замоскворечья, разворачивается постепенно. Она вроде бы не горюпит события, забывая у подлинной жизни еще и еще понемногу. И кажется, что действия сами возникают на глазах у читателя, слушателя, зрителя, а драму никто не писал, не сочинял.

Не так ли рождается настоящая поэзия?! Рассказывают, что Есенин произнес однажды крылатые слова: «Стихи должны быть как открытое окно!»

Но почему мы вдруг заговорили о поэзии? Ведь речь-то у нас идет о пьесе с обычным вроде бы прозаическим, а не стиховым текстом. Дело в том, что с давних времен в нашей практике и литературоведении для обозначения вершинных степеней художественного качества принято иной раз употреблять термин «поэтический». «Далеко не всякое литературно-художественное произведение — произведение поэтическое, — утверждает академик В. Виноградов. — Между тем всякое поэтическое произведение художества».

В середине марта 1850 года комедия «Свои люди — сочтемся!» была напечатана в журнале «Москвитин». Актер Пров Садовский чуть ли не каждый день читал ее в кругу многочисленных своих друзей-приятелей. Друг знаменитого актера, прославленный герой Отечественной войны 1812 года генерал Ермолов, выслушав пьесу, воскликнул:

— Она не написана, она сама родилась!

В ТО ВРЕМЯ Островский согласился на предложение Погодина стать соредактором журнала «Москвитин». Умение почувствовать свежесть и искренность таланта помогло ему отыскать новые имена, поднявшие репутацию журнала.

«Искренностью таланта мы назовем чистоту представления и воспроизведения жизни во всей ее непосредственной простоте, чистоту, так сказать, не балованную частыми и ослабляющими художественную способность рассуждениями...» Вдумайтесь в смысл этого отрывка из рецензии драматурга. Он ведь напрямую соотносится с его собственными пьесами.

Особым уголком старой Москвы была кофейня Печкина вблизи Театральной площади, приют актеров и литераторов. С некоторых пор здесь стали собираться друзья Островского. Одни, как, например, Пров Садовский, боготворили Александра Николаевича за верность тех красок, которыми изобразил он купеческий быт в своей комедии. Другие, как театральный критик Аполлон Григорьев, находили в таланте молодого драматурга «коренное русское мирозерцание, здоровое и спокойное». Третий, как поэт Мей и пианист Николай Рубинштейн, сошлись на интересе к народной песне. Познакомиться тут можно было и с довольно толковым художником Боклевским, иллюстратором «Мертвых душ»; и с уральским казачьим офицером, очеркистом-историком Железновым; и с сапожником из под Кимр Сергеем Арсеньевичем Волковым. Вспоминая родную деревеньку на Волге, смиренное житье односельчан, патриархальный этот крестьянин частенько сокрушался о порче нравов в белокаменной столице.

«Вот немножко прошел по Мо-

ске, всего-то от монастыря до вас, а сколько мерзости-то видел! Народ-то словно в аду кипит: шум, гам, песни бесовские!». Эту реплику старца Ильи из пьесы «Не так живи, как хочешь» драматург словно у сапожника Волкова застеночно графировал, когда примерял новые сапоги.

Пожалуй, тогдашнее состояние Александра Островского было сродни состоянию некоей влюбленности к человеку, тяготению к простым русским людям разных способов жизни и разных сословий. Ему кажется, что он переборщил с безотрадным тоном в изображении купеческого быта. Совсем по-гоголевски ужаснулся вдруг изображению пошлости жизни, опасаясь, что пошлость эта может бросить тень на самый народ.

Может быть, тогда уже Островский задумывался о том, чтобы внести светлый луч в темное царство замоскворецкого мира. Кто знает.

КУМИРОМ и недостижимым образцом для Островского всегда оставался Шекспир. И новый ведущий критик «Москвитина», идеолог его «молодой редакции» Аполлон Григорьев, поддерживал в своих статьях все «объективно спокойное, чисто поэтическое, а не напряженное, не отрицательное, не сатирическое», выдвигая Шекспира, как знамя объективной поэзии.

Александр Николаевич решил прибавиться на сцену с помощью Шекспира.

Островский предугадал, почувствовал изнутри, что общепризнанного значения художественный дар Шекспира питался доподлинным знанием своей народности. Отсюда и богатство речевых интонаций великого англичанина. Они-то и пленили русского драматурга.

Исследователи считают, что лишь с «Гамлета» Шекспир начал творить подлинно поэтическую драму. Но вот Островский и в ранней комедии «Усмирение своенравной» уловил островки живой непосредственности, чисто шекспировской простоты. И он ухватился за нее, усилил, развил, приблизил свой перевод к зрелой манере Шекспира. Потому что сумел взглянуть на творение английского писателя XVII века глазами его современников.

Прекрасно передал Островский доступность и доходчивость Шекспира. Тонко используя гибкость родного языка, он приблизил белый стих к разговорной речи, которая течет у него неслышно и плавно. Этой речи в переводе русского драматурга дышит свободно, она удобна для произнесения на сцене и в то же время сжата, афористична.

ЕСЛИ БЫ пьесы великого нашего отечественного драматурга были бы переведены на европейские языки с той же особой установкой сознания, согласно которому чужое слово признается, принимается и становится как бы своим (М. Бахтин), как это было сделано с переводами Шекспира на русский, имя Островского заняло бы в зарубежной культуре такое же место, как и имя Шекспира в нашей.

Не зря столь популярный сегодня на Западе русский философ Бахтин считал свой голос, свои интонации потенциальным поступком художника. Александр Николаевич Островский пришел к этому открытию на сто лет раньше.